

Театр

Занавесок-занавесей игра
превратилась в подобие освещённой сцены.
Там взрывом покоя взошли слова,
что при нужном беге всегда нетленны.

Затем Подобие вошло к Волшебству,
испросив поименования Театром.
Так в игре, подобной пиршеству,
стало многое понятное непонятым.

Освещение сверху, снизу и изнутри
тел, знающих и не знающих о себе,
извещения видимых мимикрий
обо мне, о нас, всегда о тебе.

Соглашаемся со всеми правилами. Игра
в многоличии зала вызывает хлопок.
Сыгранность, проникая в добро,— добра
и распознаёт в преданности манок,

предназначенный явно и почтительно ей
основателем и участником просцениума «Глобус»
на реке Авон, когда в промежутках дней
ещё не был изобретён автобус.

Прогоняя мышек и кошек со двора,
чтобы тоже шли, куда собираемся мы,
пойдём, попевая, туда, где игра
и сжимаются-разжимаются под занавесом мираы.



И. Г.

На незнакомой стороне
я нахожу следы наитий,
с которыми не стыдно мне
вершить невиданных открытий
приятный сердцу тихий ход
сквозь всевозможные улады—
и новый, одноместный взлёт
снимает всякие преграды.
Везде есть правда и тоска,
везде есть радости иные.
Тебе *одной*— моя рука,
мой ключ и эти позывные.

За зеркалом

Возьми же сам за зеркало себя
и погляди в его пустые дали.
Не видно ничего в нём от тебя,
там миражи играют, как играли,

и амальгама строит рожи всем,
кто ей поверил по пути на службу,
препроводив сквозь амальгамность тем
свою любовь, и нелюбовь, и дружбу.

Я резок, чтобы мягким не прослыть,
и мягок, чтобы резким не казаться,
и пью, чтоб никогда уже не пить,
и ем, чтоб никогда не наедаться.

Дарю вам это, как и нашим всем,
через пророка Ибн Амальгаму,
затем что, потому что не за тем,
за чем играют вместо вальса гамму.



И станешь ты старше отца,
и, может, уж стал невозможно.
Его утомлённость лица
отсветит тебе осторожно.

И спрячет он свой пистолет
в войну, из которой вернулся,
которая вышла в тот свет
и остов которой прогнулся.

Патроны— вот здесь, на столе,
«рулетка»— в испытанной правой,
и розы цветут во дворе,
и веки грустны за оправой.

Ты можешь ему написать,
копируя буквы Скрижалей,
считая по году за пять
и счастье слепив из печалей.

Но только ответа не жди—
его и изъял археолог
из мест, где большие дожди
и лист ожидания долог.

Обученный следов не оставляя,
я в хмель войду и тотчас же исчезну,
чтоб больше ничего не растерять
на всём пути в невидимую бездну

из шалостей злачёного витка
на подожжённой пылкостью картине,
где неизбежность смыслов глубока
и присно, и вовеки, и отныне.

Звенит звонок, ответственный трамвай
везёт туда, где мысли мало значат,
и молча шелестит в душе: «Прощай...»,
и нет уж тех, которые заплачут.

Кураж

Весна куражится в листочке,
а лето—в сливочной грозе,
строка—в одноимённой строчке,
а небо—в личной бирюзе,

мужчина—в табаке и пиве,
а дева—в трепетаньях кож,
пшеница—в золочёной ниве,
а шут—среди известных рож,

рождение—в ритмах восхищенья,
а смерть—в воротах в никуда,
юла—в инерции вращения,
а мы—во всём, что «навсегда».

Давид Бурлюк

красные реки текут вместе с белыми
к сыну Давидовой силы отца
слогами верные жизнью умелые
речи внушительны ликом лица
громко один и во-первых и в будущем
слышавший хлынувший в вышних поток
радостным глазом моноклевым любящий
лепые слоги слепивший в урок
мы преклоненны коленно и младостно
любим лавируем дышим живём
мечемся стелемся тычемся благостно
любо пречистую славу поём
лучшему лучшего и очищаемся
и совлекаемся в новый повтор
и растворяемся и превращаемся
и возвращаемся в тот разговор
в коем за милую душу и вымолю
вечную память сомлевшей тоски
гордой и первой и тройственной силою
до гробовой вечно спелой доски

Печенег

Возможен ли был этот вещий побег
в страну неподвижной силы?
Не зная ответа, исчез печенег,
как тень от набегов Аттилы.

Бежали с оглядкой, бежали и без,
взимая налоги с себя же,
навстречу далёкому полю чудес,
в огромном фасеточном раже.

Там встретил другое, другое во всём—
в огромной былине и в малой,
затем углубился в чужой чернозём
и кровью полил его алой.

Вспахал. Всё взросло. Собирал, удобрял,
писал запрещённые ноты.
Одною ногою в болоте застрял,
но выбрался после работы.

Живёт, продолжая и гимны писать,
и строить высокую башню,
чтоб мог ностальгически обозревать
свой день неизменно вчерашний.

Единственному читателю

Тонкое лицо с прозрачной кожей.
Через мост—дорога в Сеннаар.
У меня две лампочки в прихожей,
«Камера обскура», «Ада», «Дар».

На окне—вчерашняя газета.
В ней две даты. И одна моя.
Критику не нравится всё это,
«потому что круглая Земля».

Жертвы встречи—где-то в старом парке.
Нынче там большой аттракцион.
Где-то строят знаковые арки,
где-то слышен колокольный звон.

Так и бродим в поисках друг друга,
так ведёт дорога в никуда,
так скрипит нагужная подпруга,
так гудят былые провода.

Катастрофа там, где катастрофа,
счастье там, где счастье, а потом—
столь гостеприимная Голгофа:
новый в старом, старый в новом дом.

Знак отсрочки истово загублен—
и её не будет никогда,
а напиток тот давно пригублен
в день, в который отошла вода.

Во внешней разведке

Душой—весь во внешней разведке:
могу часами сидеть на ветке,
высматривать то, что всегда желанно,
отзывчиво, радостно, перевозданно.

Глазами—весь в вековом дозоре,
в котором мои и земля, и море,
и вся панорама моего кремля,
стоящего там, где моя земля.

Часами—весь в круговом походе,
не отдаю дань никакой моде,
всё вычищено до блеска зеркально,
связь устойчиво континентальна.

Мыслью—всегда при большой причине
в своей мышления десятине,
что бы вокруг ни происходило,
включая борьбу за то, что так мило.

Руками—в большом рукодельном мире
в своей такой небольшой квартире,
где всё для меня всегда бесплатно,
если тружусь исключительно ратно.

Ногами—на вспаханном жизни поле,
где добрый всегда на своей воле,
которая без видимых глазу границ
хороша для любых лиц.

Память свёрнута в золотое кольцо,
чтоб не поранить случайно лицо
и не оставить ненужный шрам
ни им, ни расписавшимся нам.

Перекладывая бинокль из руки в руку,
изгнал отовсюду усталость и скуку
и продолжаю работать в разведке,
преданный делу, на своей ветке.

Береника

«Такого можно ждать и сотню лет»,—
сказал себе и после захлебнулся
тем, что себе же только и изрек,
и умер, и вовеки не проснулся,

и стал землёй, и дымом, и смолой,
и основаньем нового уюта
в иных местах, отобранных землёй,
в которой есть и пальмы, и цикута.

Сам вырыл, сам засыпал, сам унёс
с собой и тайну, и ключи простые,
чтоб больше не заимствовать вопрос
у мест, где все вопросы золотые.

О том сложили притчу у ворот
Овечьих на холмах Иерусалима,
но так и не узнал простой народ,
кто так была им трепетно любима.

Аллюзии

Я погружён был тоже в этот бред
и, к фонарям протягивая руки,
кончался от любви, а не от скуки,
которой как и не было, так нет,
хотя и все отчасти близоруки.

Мне снился самолёт. Нет, пароход...
Нет, просто золочёная телега,—
уже не вспомнить после не ночлега,
но бури—сердцем к сердцу и рот в рот,
когда на взлёт шёл даже недалёт.

Перед огромной изгородью дней
стоят на полках наши фолианты,
и точно те же славные куранты
бьют то теплей, а то вдруг холодней,
и мы—как будто снова аспиранты,

желающие степень получить
от степени огромного заказа
на весь роман губительного сглаза
и свой большой участок застолбить
вблизи Прекрасночудного Приказа.

Мир существует. Он реален. Нет,
он существует, но он нереален,
и не начален, и не безначален,
и это не вопрос и не ответ,
поскольку он легально нелегален.

Известно, что была вся память дней
извне и изнутри—метаморфоза,
как следствие случайного прогноза
вблизи золототканых алтарей
и без документального наркоза.

Сходили бы к окну—в окне есть даль
и часть какой-то вечной перспективы,
случаются заманчивые дивы
с коррекцией на виды и печаль,
но если вы, конечно, не болтливы.

Но нет. А впрочем, может быть, и да,
схожу и не схожу одновременно,
немедленно и, может быть, нетленно.
Вокруг меня бескрайняя вода,
и выглядит она всегда отменно.

Сейчас-то что?—Я жду. И как всегда...
А вы? Я раньше *знал*—теперь *не знаю*
И про себя обычно повторяю
какие-то летучие слова,
как будто что-то чем-то удобряю.

Привет тебе, любимая, привет!
Привет тебе, любимый, бесконечно
и даже в *тайных* смыслах безупречно
на много тысяч предстоящих лет
и всех, что были ранее, конечно!

Сочинителю историй

История должна быть ясной, как Первопричина,
иначе не примут в редакции, дурачина.

История должна быть умной, как телёнок,
который часто бодался с дубом с пелёнок.

История должна быть чёткой, как вера
в производство стали по методу Бессемера.

История должна быть настоящей, как штурм Зимнего дворца,
иначе её могут переписать к началу с конца.

История должна быть правдивой, как сказание
о Китеже-граде, иначе над ней будут смеяться забавы ради.

История должна быть честной, как известная нам революция,
иначе это будет не история, а аннексия без контрибуции.

История должна быть верной, как жена вне подозрений,
иначе не видать ей многих тысяч прочтений.

История должна быть чистой, как наша водопроводная вода,
потому что она пишется раз навсегда.

История должна быть внятной, как манифест партии века,
чтобы прославлять дело и его человека.

История должна быть твёрдой, как учение Карла Маркса,
ибо это история, а не вакса.

История должна быть преданной, как Фидель Кастро Рус,
иначе возможен историософский конфуз.

История должна быть, потому что её не может не быть,
ибо если по усам текло, а в рот не попало, то придётся ещё раз налить.

Выше голову, брат!

Выше голову, брат, в этом радостном мире печали!
Ты, я вижу, не рад набежавшей весенней тоске.
Ты такой же, как я,—нас с тобою уже распинали,
И родная земля ловко ладила доску к доске.
Твой простуженный вид воскресенье твоё не украсит.
Он молчит и кричит на холодном и тёплом ветру.
Нынче совесть и стыд где-то в море далёком баркасят.
Не спасу я тебя—завтра сам от удушья умру.
Мы не первые здесь и не завтра последними станем,
А соблазны и спесь есть не то, чем нас можно кормить.
Из самих же себя на самих же себя и восстанем,
Если сами себе не позволим внутри себя быть.
Неизбежность во всём—от источника до поворота,
Где и ночью, и днём перелётная носится пыль.
А ворота в степи—это просто в степи те ворота,
За которыми вход в изумительный наш водевиль!
Мы играем с тобой, как положено просто актёрам.
Мы вдвоём—и они! И они тоже с нами вдвоём!
Драматургом, оркестром, рабочим кулис, режиссёром—
Будем сами, и сами все песни в спектакле споём!
Выше голову, брат, я с тобой—до последней минуты!
Хорошо то, что есть! То, что будет,—милей во сто крат!
Как Сократ, будем несть свои маски до встречи с цыкутой
И ещё одну песню споём у невидимых врат.

Аллюзии

Обезьяна мчит на самокате
даже чуть быстрее, чем вчера.
На рассвете мчит и на закате,
а вокруг — большая детвора
всех её советников-двойняшек,
векторы прорывов на ура
в блеске позолоченных стекляшек
возле постоянного двора,
где извоз и прелести улёта,
марши и демарши всякий день,
алгоритмы сильного расчёта
и автоматическая тень;
силы бесконечного рассказа,
крики сладкогласных журавлей,
метод избавления от сглаза
или пересглаза (что точней).
Вдоль дорог другие обезьяны
тоже демонстрируют уют,
ловко сортируя все каштаны,
если им каштаны раздают.
Выбросы и вбросы всех иллюзий,
как и зависть обезьян иных, —
суть преобразования контузий
шутовских, мирских и даровых.

К Сапфо

Прекрасней не было и нет
во времена простых и сложных.
Не нужен здесь ничей совет —
тем более в стихах творожных.
Немеет слово — и звезда
лишается свеченья дара,
и всевозможная вода
ждёт снова своего пожара.
Стереть все знаки не могу
(да и они не разрешают).
Сейчас проталины в снегу
и птицы — многое решают.
Не греет шерсть, не холодит
ни лёд, ни беспределов стужа,
и там, где значилась Лилит,
сегодня масляная лужа.
Как непотребная зола,
день выметен в своё задворье,
и не вращается она
там, где сегодня Лукоморье.
И полдень полночь предаёт,
потом куда-то увлекает,
и никакой нигде народ
вновь ничего не понимает.
И раскрывается дневник,
и пишется налево справа —
бывает же на свете сдвиг
и без конца, и без начала.

Дом престарелых

Пишу в электричке по дороге в смертельный дом.
Там время остановилось и спряталось за бугром.
Там всё наоборот тому, что здесь,
и в песок уходит любая песнь
полководца-военачальника, кормчего, барина,
даже самого Иосифа Виссарионовича Сталина.
А у тех, кто знал лично Бухарина,
на лобках сплошная подпалина.
Там старухи беззубьями жнут неблагую весть.
А самое страшное, что в тех стенах есть, —
это те, кто обездвижены, но всё понимают.
Я приношу им фрукты, которые моя кровь охлаждает.
Если бы и мог им помочь — помочь бы не смог,
потому что обойти эту ночь не может и Бог.
Его слова здесь никого не спасают
и воду в вино не превращают.
Старики, зачастую с нормальным взглядом,
когда никого нет рядом,
по телефону говорят сами с собой,
чтобы не разворотить стену от одиночества головой.
Один пританцовывает, персонал аплодирует,
в то время как его мозг мутирует.
Он был авиаинженером в молодую бытность,
до того как обрёл Альцгеймера колоритность.
Другой, с полным печатей удостоверением
официально умалишённого, с добрым рвением
соединяет меня с администратором по телефону
в два раза быстрее, чем служащая мадонна, —
при этом без помощи и без протекции,
свободно цитируя на латыни Проперция.
На голове у него шлем и термозащита
от падений и эпилептической волокиты.
Хочется кричать, хотя бы и в пустоту
неплодоносную. За косую версту
никого вокруг — и за две, и за три,
хоть кричи не кричи или вовсе умри,
что и есть лучший выход из этой сказки,
в которой и ласки
оборотились тела гниющего холодцом.
Только Чингисхан из подобного ушёл молодцом.
Я динозавром бы выгрыз большим
все враки и политрежимные драки
из всех правительств — и остался б один
ждать писем на границе, где маки
цветут так, что хочется жить,
переворачивая всё, что можно переворачивать,
трогать, пробовать, нюхать, быть,
не хоронить... и глаза не размачивать...